

БЕЖЕНЦЫ С ПРИЦЕЛОМ НА ФРОНТ

ПРАВОВЫЕ РИСКИ ОГРАНИЧЕНИЯ ВРЕМЕННОЙ ЗАЩИТЫ УКРАИНСКИХ МУЖЧИН В ЕВРОПЕ И ПРЕВРАЩЕНИЯ ГУМАНИТАР- НОГО СТАТУСА В ИНСТРУМЕНТ МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

Европейская система временной защиты для украинцев, которая с 2022 года воспринималась как чрезвычайная гуманитарная мера, в 2026 году начала заметно меняться.

Речь уже идет не просто о продлении помощи людям, спасавшимся от войны, а о пересмотре самого принципа защиты для мужчин призывного возраста. В этом и состоит главный юридический нерв темы: статус, который должен был защищать человека от последствий войны, все больше связывают с его воинской обязанностью перед государством.

Формально Евросоюз не объявил о всеобщем прекращении защиты для украинцев. Напротив, механизм временной защиты был продлен, а его общий каркас сохранен. Но одновременно появилась новая логика: для мужчин мобилизационного возраста, прежде всего среди новых заявителей, защита может перестать быть автоматической и начать зависеть от наличия документов, подтверждающих право на выезд, освобождение от службы или отсутствие нарушений воинского учета. Именно эта деталь и превращает обычную миграционно-гуманитарную тему в серьезный правовой вопрос.

До сих пор правовой смысл временной защиты был сравнительно ясен. Она вводилась как экстренная мера для граждан Украины, чтобы не загружать национальные системы убежища и не заставлять миллионы людей индивидуально доказывать право на убежище. Человек получал право на проживание, работу, образование, медицинскую помощь и базовую социальную защиту именно потому, что он бежал из зоны войны. В этой конструкции

не должно было быть принципиальной разницы между женщиной, ребенком или мужчиной. И действительно, еще в начале 2026 года представители Еврокомиссии прямо подчеркивали, что действующие правила одинаково применяются ко всем украинцам, без исключений по полу и возрасту.

Однако уже через несколько месяцев ситуация стала иной. В ЕС начали открыто обсуждать исключение мужчин призывного возраста из схемы временной защиты, а часть стран подержала эту идею как политически приемлемую и административно удобную. После этого Еврокомиссия предложила формулу, при которой защита продлевается для большинства украинцев, но ограничивается для новых мужчин-заявителей в возрасте, подпадающем под мобилизацию. Таким образом, право на защиту оказалось поставлено в зависимость не только от факта войны, но и от того, представляет ли человек мобилизационный интерес для своего государства.

Юридически это очень опасный сдвиг. Как только международная или региональная гуманитарная защита начинает учитывать не только угрозу для личности, но и военные потребности страны происхождения, меняется сама природа этой защиты. Она перестает быть нейтральным барьером между человеком и насилием войны. Она становится гибридным инструментом, где гуманитарный статус все теснее связан с политическими и военными расчетами. И именно это вызывает главный вопрос: можно ли считать защиту подлинной, если она перестает действовать именно в отношении тех, кого государство хочет вернуть в свой

мобилизационный контур. Особенно чувствительно то, что такие изменения, по сообщениям СМИ, продвигаются не только отдельными странами ЕС, но и при прямом участии Киева. Сообщалось, что Украина сама просила Европейский союз исключить мужчин призывного возраста из режима временной защиты. Если это так, то правовая конструкция становится еще более тревожной. Выходит, воюющее государство использует дипломатические и правовые механизмы, чтобы сузить пространство безопасного пребывания для своих граждан за рубежом и тем самым облегчить их возможное возвращение.

Само по себе желание государства вернуть своих граждан не является чем-то необычным. Но одно дело — стимулировать возвращение через социальные программы, помощь с адаптацией, трудоустройством или восстановлением связей с родиной. И совсем другое — добиваться того, чтобы международная гуманитарная защита больше не действовала для определенной категории людей потому, что эта категория нужна для войны. Здесь проходит важная юридическая граница. Возвращение перестает быть вопросом выбора и начинает становиться результатом сужения правовых возможностей остаться.

Часто в таких случаях звучит формальное успокоение: речь идет только о новых заявителях, а уже получивших защиту массово лишать статуса не собираются. Но именно так обычно и начинаются системные ограничения.

ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ОТЧУЖДЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ДЛЯ НУЖД ГОСУДАРСТВА: ПРАВОВЫЕ ГРАНИЦЫ, КОМПЕНСАЦИЯ И ЗАЩИТА СОБСТВЕННИКА



Принудительное отчуждение имущества в условиях военного положения — одна из самых болезненных для граждан юридических тем, потому что она затрагивает не только деньги и вещи, но и саму основу частной жизни: дом, автомобиль, технику, инструменты работы, семейное имущество и накопления. В обычной правовой системе право собственности считается одним из наиболее защищенных, однако в условиях войны государство получает возможность вмешиваться в него гораздо глубже, чем в мирное время. Именно поэтому вокруг отчуждения имущества возникает много тревоги, слухов и злоупотреблений: граждане не всегда понимают, где заканчивается законная необходимость обороны и начинается произвол. Для правового анализа важно сразу зафиксировать главную мысль: даже в военное время изъятие имущества не должно происходить произвольно, а собственник сохраняет право на компенсацию и на защиту своих интересов.

С юридической точки зрения принудительное отчуждение имущества — это не бытовое «забрали для армии», а специальный правовой механизм, который допускается только при наличии общественной необходимости. В условиях военного положения государство может изымать имущество у граждан и организаций для нужд обороны, обе-

спечения безопасности, размещения военных подразделений, транспортных и логистических нужд, а также для иных целей, прямо связанных с режимом военного времени. Но сам факт войны не означает, что любая вещь может быть просто забрана без процедуры. Право собственности не исчезает, а лишь ограничивается настолько, насколько это необходимо для достижения публичной цели. Поэтому отчуждение имущества должно рассматриваться как крайняя мера, а не как удобный административный способ решить дефицит ресурсов.

В этом и состоит ключевая правовая граница. Государство не вправе изымать имущество потому, что это «проще», «быстрее» или «удобнее» для должностных лиц. Необходимость должна быть реальной, а не абстрактной. Если техника, транспорт или помещение нужны для непосредственного решения задач обороны, изъятие может быть законным. Если же речь идет о попытке заменить нормальную организационную работу принудительным изъятием чужой собственности без четкого основания, возникает высокий риск злоупотребления. Отсюда следует главный вывод: законность таких действий определяется не словами о патриотизме или военной необходимости, а наличием процедуры, полномочий и документального под-

тверждения. Важно различать принудительное отчуждение и временное изъятие. В общественной дискуссии эти понятия часто смешивают, хотя для собственника разница принципиальна. При принудительном отчуждении имущество фактически переходит в распоряжение государства или уполномоченного субъекта, и речь идет уже о более глубоком вмешательстве в право собственности.

При временном изъятии или использовании вещь может быть передана на определенный срок без окончательного прекращения права собственности, хотя на практике и здесь гражданин нередко сталкивается с теми же рисками: повреждением имущества, потерей доступа, задержкой возврата, утратой полезных свойств и проблемами с доказательством ущерба. Если эта грань не объяснена, гражданин начинает воспринимать любую передачу имущества как безвозвратную потерю, а государство — как сторону, не несущую ясной ответственности. Именно поэтому правильная юридическая квалификация имеет практическое значение.

Отдельный вопрос — какое имущество может быть предметом отчуждения. Наиболее чувствительны для граждан жилье, автомобили, сельскохозяйственная и строительная техника, оборудование предприятий, генераторы, средства связи, компьютеры, склады, помещения и другое имущество, без которого человек или бизнес не могут нормально функционировать. Жилье стоит особняком, потому что его изъятие затрагивает не только собственность, но и право на жилище, семейную устойчивость, безопасность детей, пожилых родителей и уязвимых членов семьи.

Автомобили и техника, в свою очередь, часто являются не роскошью, а рабочим инструментом, источником дохода и средством перемещения в условиях, когда общественный транспорт нестабилен.

Продолжение на стр. 3

Продолжение. Начало на стр. 2

Поэтому отчуждение таких вещей нельзя рассматривать как мелкую техническую процедуру: для владельца это может означать резкое ухудшение жизни, потерю заработка и дополнительные расходы.

Правовой смысл института отчуждения состоит в том, что государство не просто забирает вещь, а принимает на себя обязанность компенсировать ущерб. Именно компенсация отличает законное отчуждение от банального изъятия без возмещения. В нормальной правовой конструкции собственнику должны возместить стоимость имущества, а в некоторых случаях и дополнительные убытки, связанные с утратой вещи. Это особенно важно для недвижимости и сложной техники, где реальный ущерб часто шире, чем формальная цена объекта.

Например, утрата автомобиля может повлечь расходы на перевозки, нарушение деловых обязательств и потерю дохода. Утрата жилья — расходы на переезд, временное проживание, обустройство нового места и эмоциональные потери, которые, хотя и труднее выражаются в деньгах, объективно существуют. Следовательно, компенсация не должна быть символической; она должна стремиться максимально восстановить имущественное положение собственника.

Однако именно в вопросе компенсации на практике чаще всего и возникает конфликт между законом и реальностью. Формально возмещение предусмотрено, но сроки выплат могут затягиваться, оценка может быть заниженной, документы — оформлены с ошибками, а владелец — не всегда понимает, куда обращаться. Кроме того, в условиях войны бюрократия часто работает медленно, а собственник оказывается в уязвимом положении: имущество уже утрачено, но денег еще нет. Это создает правовой и социальный вакуум. Человек лишается вещи сразу, а компенсацию может ждать долго. В таком случае особое значение имеют копии актов, доказательства права собственности, фотографии имущества, чеки, договоры, акты оценки и любая иная документация, которая поможет подтвердить как сам факт изъятия, так и размер ущерба.

Для собственника критически важно понимать, что устного распоря-

жения недостаточно. Если имущество действительно изымается на законных основаниях, должны существовать оформленные документы: решение уполномоченного органа или должностного лица, акт об изъятии, описание имущества, его технические характеристики, состояние, сведения о собственнике и основаниях отчуждения. Чем точнее эти данные зафиксированы, тем меньше вероятность последующих споров. Если акт не содержит подробностей, государству проще утверждать, что вещь была дешевле, находилась в худшем состоянии или вообще не принадлежала заявителю. Поэтому оформление документов — это не формальность, а основа будущей защиты прав. Без нее собственник рискует остаться один на один с фактом утраты имущества и не получить полноценного возмещения.

Особенно сложная ситуация складывается с жильем. Когда речь идет о доме, квартире или ином жилом помещении, государство вмешивается не только в право собственности, но и в основу человеческой безопасности. Потеря жилья — это не просто утрата активов. Это разрушение привычного уклада, перемещение семьи, изменение режима жизни, риск для детей и пожилых, а иногда и потеря доступа к вещам первой необходимости.

Именно поэтому правовая оценка отчуждения жилья должна быть особенно строгой. Такое изъятие возможно только при действительно исключительных обстоятельствах, когда цели обороны не могут быть достигнуты иным путем. И даже в этом случае компенсация должна учитывать не только стоимость стен и квадратных метров, но и сопутствующие потери: расходы на переезд, временный наем жилья, обустройство нового места, возможный ремонт, утрату мебели и бытовой техники, а также другие реальные затраты семьи.

Автомобили и техника вызывают иной, но не менее важный набор проблем. Для многих семей автомобиль — это способ добираться до работы, возить детей, ухаживать за родственниками, вести малый бизнес или просто поддерживать нормальную мобильность в условиях военного времени. Для предпринимателя техника может быть основным средством производства. Для фермера — основой сельскохозяйственного цикла. Поэтому изъ-

ятие машины или оборудования без надлежащей компенсации может означать не только частную имущественную потерю, но и цепочку экономических последствий: остановку деятельности, сокращение дохода, срыв контрактов, невозможность выполнять обязательства перед клиентами и работниками. Именно поэтому в правовом материале стоит подчеркивать: государство изымает не «металл», не «предмет», а ресурс, от которого зависит целый слой частной и экономической жизни.

Проблема оценки имущества заслуживает отдельного анализа. Если оценка занижена, то возмещение становится формальным, а собственник фактически несет часть потерь сам. Это особенно типично для старой техники, жилья в небольших населенных пунктах или имущества, которое имеет не только рыночную, но и функциональную ценность. Формальная цена автомобиля или здания может быть одной, а реальный ущерб от его утраты — значительно выше. Кроме того, рыночная стоимость не всегда отражает стоимость замены. Купить аналогичную вещь в момент кризиса может быть гораздо дороже, чем показывает стандартная оценка. Поэтому в подобных спорах полезно настаивать на независимой оценке, собирать доказательства текущей рыночной цены и фиксировать дополнительные расходы, связанные с изъятием.

С правовой точки зрения важно и то, кто именно принимает решение. Если гражданину просто говорят, что имущество «нужно для армии», это еще не означает, что уже возникло законное основание для передачи. Нужны полномочия, процедура и форма. В условиях военного положения компетенция может распределяться между военными органами, администрациями и иными уполномоченными субъектами, но это не отменяет необходимости должного оформления. Чем выше степень вмешательства, тем строже должны быть требования к процедуре. Если документы отсутствуют, полномочия неочевидны, а решение не поддается проверке, это повышает риск признания действий незаконными. Для собственника это означает, что он имеет право требовать объяснения оснований, копии документов и разъяснения порядка обжалования.

Продолжение на стр. 4

Продолжение. Начало на стр. 2,3

Гражданину полезно помнить несколько практических правил. Первое — не передавать имущество только на основании устной просьбы или общего давления. Второе — требовать письменного оформления, описания вещи, указания ее состояния и оснований отчуждения. Третье — сохранять все документы, подтверждающие собственность и стоимость имущества. Четвертое — фотографировать или снимать на видео имущество до передачи, если есть такая возможность. Пятое — при наличии спора подавать письменные заявления и фиксировать дату обращения. Шестое — не соглашаться на заниженную компенсацию без проверки оценки и без понимания, что именно включено в сумму возмещения. Все это не отменяет военной необходимости, но защищает человека от того, чтобы его собственность исчезла без следа и без шансов на реальное восстановление ущерба.

Немаловажно и то, что принудительное отчуждение имущества имеет не только имущественное, но и психологическое измерение. Для человека потеря дома, машины или рабочего инструмента воспринимается как удар по личной устойчивости. Люди чувствуют не только материальный ущерб, но и ощущение уязвимости перед государством. Если такие случаи сопровождаются неясностью, хаотичностью и отсутствием обратной связи, это подрывает доверие к институтам власти. Если же процедура понятна, а компенсация действительно выплачивается, напряжение снижается. Поэтому леги-

тимность отчуждения определяется не только тем, можно ли забрать вещь, но и тем, насколько уважительно и прозрачно государство обращается с собственником.

Отдельный смысл темы состоит в том, что она показывает общий характер военного правового режима. Военное положение неизбежно усиливает полномочия государства, но оно не должно превращать собственность граждан в резерв без правил. Правовая система сохраняет значение именно в том, что даже в кризисе она требует процедуры, доказательств и ответственности. Иначе говоря, законность отчуждения имущества держится на трех опорах: необходимость, формальность и компенсация. Если отсутствует хотя бы одна из них, вмешательство начинает выглядеть как произвольное.

Впрочем, сама по себе идея законного отчуждения имущества еще не означает, что каждый конкретный случай автоматически справедлив и безупречен. В праве военного времени особенно важно помнить, что исключительный режим быстро производит привычку к исключению. То, что изначально задумывалось как ответ на чрезвычайную ситуацию, может постепенно превратиться в устойчивую административную практику.

И если государство начинает воспринимать имущество граждан как постоянно доступный ресурс, а не как охраняемую сферу частной собственности, то правовая логика смещается: вместо временного вмешательства возникает фактическое обесценивание самой собственности. В этом и состоит

главный риск любых режимов, основанных на чрезвычайности: чем чаще применяется исключение, тем проще его оправдать, и тем труднее потом восстановить нормальный правовой стандарт.

Поэтому оценивать отчуждение имущества нужно не только по формальным признакам, но и по тому, насколько государство соблюдает принцип соразмерности. Соразмерность означает, что мера должна быть необходимой, адекватной поставленной цели и наименее обременительной из возможных.

Если для обеспечения нужд обороны можно использовать арендованный транспорт, государственные резервы, централизованные закупки или иные менее жесткие средства, принудительное отчуждение частной собственности должно применяться в последнюю очередь. Это особенно важно, когда речь идет о жилье, об имуществе малого бизнеса, о единственном автомобиле семьи или о технике, без которой человек не может зарабатывать. Иными словами, государство не должно перекладывать на граждан свою организационную неэффективность. В условиях войны это особенно чувствительно, потому что население и так несет огромную нагрузку.

Еще один важный вопрос — судьба имущества после прекращения чрезвычайной необходимости. Если имущество изымается временно или используется для конкретной задачи, собственник вправе ожидать возврата, а если возврат невозможен — компенсации в полном объеме. Здесь часто возникает проблема фактической утраты вещи, когда формально она была передана «на нужды государства», но затем вернулась в поврежденном виде, без части комплектующих или не вернулась вовсе. В таких ситуациях юридическая логика должна быть простой: если собственник лишился вещи полностью или частично, он не должен нести убытки из-за того, что государство использовало его имущество.

Возврат поврежденного объекта не может считаться полноценным исполнением обязательства. Нужен либо ремонт, либо доплата, либо полная компенсация стоимости и сопутствующего ущерба. Иначе механизм компенсации превращается в фикцию.



Продолжение на стр. 5

Продолжение. Начало на стр. 2,3,4

Люди часто надеются, что «потом разберутся», «потом оценят», «потом компенсируют». Но правовая защита в таких случаях начинается именно в момент оформления, а не постфактум. Чем позже человек начинает фиксировать нарушения, тем сложнее потом доказать, что именно было изъято, в каком состоянии находилось имущество, кто его передал, кто принял и какие убытки возникли. Поэтому важно выстраивать поведение максимально рационально: сохранять спокойствие, не препятствовать действиям силой, но одновременно требовать формализации, записи данных должностных лиц, реквизитов акта и копий документов. Спорить с процедурой лучше на юридическом языке, а не в эмоциональном.

Если говорить о недвижимости, то здесь следует дополнительно подчеркнуть социальное измерение проблемы. Дом и квартира — это не просто объект рынка, а опора семейной жизни. Потеря жилья особенно тяжело переживается пожилыми людьми, семьями с детьми, лицами с инвалидностью и теми, кто уже находится в состоянии внутреннего перемещения или экономической нестабильности. Для таких групп отчуждение жилья может означать не только юридический спор, но и реальную гуманитарную уязвимость. Поэтому в идеале государство должно учитывать не только балансовую стоимость объекта, но и социальные последствия его утраты. В противном случае компенсация формально покрывает квадратные метры, но не восстанавливает нормальную жизнь.

В отношении транспорта и техники следует обратить внимание на проблему предпринимателей и самозанятых. Для них автомобиль, микроавтобус, грузовая машина, генератор или производственное оборудование — это не «имущество в свободное от работы время», а инструмент дохода. Отчуждение такого ресурса может привести к остановке бизнеса, потере заказов, увольнению работников и прекращению обязательств перед клиентами. Если государство не компенсирует не только стоимость вещи, но и сопутствующие убытки, то фактически оно перекладывает часть своих оборонных затрат на частного собственника. Такой подход трудно назвать справедливым, даже если он объясняется чрезвычайностью ситуации. Именно поэтому в

юридически грамотном тексте важно показать: в военное время защита государства не должна строиться на безвозмездном изъятии частной экономической основы граждан.

На уровне правовой культуры эта тема еще и демонстрирует, насколько важно различать закон, разъяснение и практику. Закон может декларировать компенсацию, но реальная практика может отставать. Разъяснение может обещать прозрачность, но на месте человек сталкивается с краткими устными распоряжениями и отсутствием ясной процедуры. Именно в таких разрывах чаще всего и рождается недоверие. А недоверие, в свою очередь, ведет к сопротивлению, страху, сокрытию имущества и попыткам избежать любых контактов с уполномоченными органами. То есть недостаток правовой определенности бьет не только по гражданам, но и по самому государству, потому что снижает готовность людей сотрудничать на законных основаниях. Следовательно, прозрачность и предсказуемость процедуры — это не уступка гражданам, а элемент эффективности самого режима.

С точки зрения юридической логики собственник должен исходить из того, что его интересы защищаются лучше всего тогда, когда он сам действует документально. Надо не только хранить документы, но и, по возможности, собирать доказательства на каждом этапе: до изъятия, в момент передачи, после передачи и при обращении за компенсацией. Чем больше подтверждений, тем выше шансы на адекватное возмещение.

В спорах о стоимости полезно ссылаться не только на формальные документы, но и на фактические рыночные условия, стоимость аналогов, расходы на замену, логистику и вынужденный простой. Особенно это важно для техники, оборудования и транспорта, где реальная стоимость использования часто гораздо важнее бухгалтерской оценки.

Необходимо также помнить, что принудительное отчуждение имущества не должно становиться формой скрытой конфискации. Конфискация предполагает иной правовой смысл и обычно связана с санкцией за правонарушение. Отчуждение для нужд государства — это не наказание, а вынужденная мера публичного интереса. Поэтому собственника нельзя фактиче-

ски лишать имущества без компенсации под видом оборонной необходимости, если на самом деле речь идет о наказании или о простом административном удобстве.

Такой подменой легко злоупотребить, особенно в условиях информационного шума и военного давления. Именно поэтому в материале полезно отдельно проговорить: если имущество забирается не как результат правонарушения, а как средство для обороны, то и правовой режим должен быть принципиально другим — с обязательным возмещением, а не с карательной логикой.

В конечном счете тема принудительного отчуждения имущества в условиях военного положения — это разговор о том, как далеко может зайти государство, не разрушив собственную правовую основу. Если оно получает право забирать жилье, машины, технику и иное имущество, то обязано в ответ максимально четко объяснять основания, соблюдать процедуру и компенсировать ущерб. Иначе оно рискует подорвать доверие к самой идее законности. А доверие, как показывает любой кризис, не менее важно, чем материальные ресурсы. Государство может мобилизовать имущество, но не должно мобилизовать произвол. Может ограничивать собственность, но не вправе отменять ответственность. Может действовать быстро, но не освобождается от обязанности действовать законно.

Все это делает принудительное отчуждение имущества одной из самых показательных тем военного времени. Через нее видно, как чрезвычайный режим меняет баланс между публичным интересом и частной собственностью, как быстро может возникнуть искушение подменить процедуру целесообразностью и как важно сохранять юридические границы даже тогда, когда общество живет в состоянии постоянного риска.

Для собственника главный вывод остается простым: если имущество изымается для нужд государства, это не означает исчезновения его прав. Напротив, именно в этот момент право должно работать особенно точно — через документы, оценку, возмещение и возможность защиты. Иначе временная мера превращается в постоянную потерю, а публичная необходимость — в частную несправедливость.

ТЮРЕМНОЕ НАСИЛИЕ И ПРАВОВАЯ БЕЗНАКАЗАННОСТЬ: ЧТО ИЗВЕСТНО О ЖАЛОБАХ ИЗ ВИННИЦКОЙ ИК-86

Проблема пыток, жестокого и унижающего достоинство обращения в местах лишения свободы остается одной из самых тяжелых и одновременно наименее публичных тем украинской правовой системы. Именно в изоляции, где человек полностью зависит от администрации учреждения, особенно высок риск давления, злоупотреблений и сокрытия нарушений. В последние месяцы тема Винницкой исправительной колонии № 86 вновь оказалась в центре внимания после сообщений правозащитников и публикаций политузников братьев Кононовичей о побоях, унижении заключенных и ненадлежащих условиях содержания.

Сама по себе эта ситуация показывает не только проблему конкретного учреждения, но и более широкий системный сбой. Если жалобы на насилие, отсутствие нормальных бытовых условий, угрозы и избирательное применение дисциплинарных мер повто-

ряются из года в год, речь идет уже не о единичном инциденте, а о порочной модели управления исправительной системой. В такой модели заключенный оказывается не субъектом права, а объектом давления, а любая попытка пожаловаться воспринимается как нарушение дисциплины. Именно поэтому тема условий содержания должна рассматриваться не как второстепенный тюремный вопрос, а как проверка реальности прав человека в целом.

Правовая рамка здесь предельно ясна: даже лишенный свободы человек сохраняет право на жизнь, личное достоинство, медицинскую помощь, гуманное обращение и эффективную жалобу. Международные стандарты и национальное право исходят из того, что лишение свободы не может означать лишения человеческого статуса. Однако на практике именно в закрытых учреждениях формальные гарантии часто размываются. Заключенный не

может свободно зафиксировать следы насилия, не всегда имеет доступ к независимому врачу, адвокату или правозащитнику и вынужден зависеть от тех же сотрудников, действия которых он оспаривает. В результате доказательство жестокого обращения становится для него почти недостижимой задачей.

Особую тревогу вызывает повторяемость одного и того же сценария: жалоба, затем возможные проверки, затем сообщения о давлении на тех, кто сообщил о нарушениях. Такая логика создает эффект замкнутого круга. Человек рискует не только не добиться защиты, но и столкнуться с ухудшением условий содержания после обращения. Это превращает право на жалобу в формальность. Если осужденный опасается последствий, он молчит; если молчит — нарушение остается скрытым; если нарушение скрыто, система продолжает работать без внешнего контроля.

Отдельный аспект — публичный статус самих заявителей. Когда о нарушениях сообщают не только заключенные, но и правозащитные структуры, возникает дополнительный интерес к тому, как государственные органы реагируют на такие сигналы. Если обращения направляются в прокуратуру, органы расследования и международные правозащитные механизмы, а ответ сводится к бюрократической отписке или затягиванию проверки, это лишь усиливает сомнения в эффективности защиты. В подобных случаях важно не только зарегистрировать жалобу, но и обеспечить независимую фиксацию фактов: медицинский осмотр, опрос свидетелей, проверку камер наблюдения, журналов дежурств, дисциплинарных рапортов и материальных следов возможного насилия.

Проблема усугубляется тем, что в закрытых учреждениях любое физическое или психологическое давление может сопровождаться уничтожением либо подменой доказательств. Сообщения о срочном ремонте камер, исчезновении видеозаписей или изменении состояния помещений особенно тревожны, потому что они указывают не только на возможное нарушение, но и на попытку замести следы. В такой ситуации стандартная проверка уже недостаточна: нужны немедленные действия по сохранению доказательств, допуск независимых наблюдателей и документирование всех изменений в учреждении. Иначе последующая правовая оценка превращается в спор о словах, а не в расследование фактов.

Особую тревогу вызывает повторяемость одного и того же сценария: жалоба, затем возможные проверки, затем сообщения о



Продолжение. Начало на стр. 6

На уровне прав человека тема пенитенциарного насилия особенно важна потому, что общество нередко склонно воспринимать заключенных как лиц, чьи права можно отодвинуть на второй план. Это опасная логика. Именно по обращению с наименее защищенными людьми судят о реальном состоянии правопорядка. Если государство допускает жестокость в отношении тех, кто уже лишен свободы, оно демонстрирует слабость правовых гарантий в самой уязвимой точке системы. И наоборот: когда даже заключенный может рассчитывать на защиту от пыток, это говорит о зрелости правовой культуры.

Вокруг Винницкой ИК-86 уже сложился устойчивый образ учреждения, где жалобы на жестокое обращение звучат не впервые. Для правового анализа это означает, что речь идет не о случайном эпизоде, а о повторяющемся кризисе контроля. Если одна и та же колония фигурирует в заявлениях о насилии, издевательствах и бесчеловечных условиях, это требует не точечной проверки, а комплексной инспекции всей системы управления учреждением: режима, медицинской помощи, дисциплинарной практики, работы с жалобами и внутреннего надзора. Без этого любая отдельная проверка рискует остаться поверхностной.

Важен и вопрос о том, каковы практические механизмы защиты в таких случаях. Теоретически они включают обращения в прокуратуру, органы досудебного расследования, к уполномоченному по правам человека, в суд,



а также в международные правозащитные структуры. Но эффективность этих механизмов зависит от того, насколько быстро они реагируют и насколько готовы работать с закрытой информацией. В тюремных делах время имеет решающее значение: чем дольше откладывается проверка, тем выше риск утраты следов насилия, давления на свидетелей и ухудшения состояния потерпевшего. Поэтому формальный ответ через несколько недель или месяцев не является достаточной защитой.

Не менее значим и вопрос общественной реакции. В закрытых пенитенциарных системах внешнее давление играет важную роль: именно огласка нередко заставляет власти реагировать быстрее. Однако публичность должна работать не на разжигание ненависти, а на требование законности. Чем точнее и документированнее сформулированы обвинения, тем выше шанс, что они будут проверены профессионально. Поэтому правовой подход к такой теме должен строиться не на эмоции, а на четкой фиксации фактов, дат, доку-

ментов, имен должностных лиц, актов проверок и медицинских данных.

Есть и еще одна сторона вопроса: когда заключенные заявляют о пытках, общество должно помнить, что уголовно-исполнительная система не может заменять собой карательную месть. Назначенное судом наказание не включает право на избиение, унижение или лишение базовых условий жизни. Любое дополнительное страдание, не предусмотренное законом и связанное с сознательным насилием, выходит за пределы легитимного наказания. Поэтому разговор о тюремных пытках — это не частный спор между осужденным и администрацией, а проверка того, способен ли правовой порядок удерживать государственное насилие в допустимых рамках.

С практической точки зрения в подобных случаях особенно важны три вещи. Первая — немедленная фиксация телесных повреждений и условий содержания. Вторая — доступ к адвокату и возможность передавать жалобы без цензуры со стороны администрации. Третья — независимая проверка учреждения, в том числе с участием правозащитных структур и медицинских специалистов. Если хотя бы один из этих элементов отсутствует, риск безнаказанности резко возрастает. Именно поэтому проблема колонии № 86 не сводится к частным жалобам отдельных лиц: она ставит вопрос о том, способен ли механизм контроля за местами лишения свободы вообще работать в условиях закрытости и давления.

В более широком смысле этот сюжет показывает, что права человека в тюрьме — это лакмусовая бумага для всей системы. Если жалобы на насилие игнорируются, значит, кризис касается не только пенитенциарного ведомства, но и прокуратуры, суда, омбудсмена и всей вертикали надзора.



ТАЙНА ПЕРЕПИСКИ, ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ И ЦИФРОВОЙ КОНТРОЛЬ НА УКРАИНЕ: КАК ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СУЖАЕТ ПРОСТРАНСТВО ЛИЧНОЙ СВОБОДЫ

В условиях военного положения в Украине тема тайны переписки и неприкосновенности частной жизни перестала быть абстрактной конституционной нормой и превратилась в повседневный вопрос для миллионов людей. Телефон, мессенджеры, история звонков, фотографии, контакты и геолокация стали не только личным пространством, но и объектом повышенного внимания со стороны государства, силовых структур и военной администрации. Формально права человека не исчезают даже в чрезвычайном режиме, однако именно в этой сфере особенно заметно, как правовые гарантии расходятся с реальной практикой контроля. На словах речь идет о защите безопасности, на деле все чаще — о расширении возможностей вмешательства в частную жизнь без достаточной прозрачности и без эффективных гарантий от злоупотреблений.

Конституционный принцип тайны переписки и личной жизни в таких условиях сохраняет силу, но его содержание заметно меняется. Военное положение дает государству право вводить ограничения, затрагивающие свободу передвижения, собраний, информации, трудовую сферу и отдельные элементы частной жизни. Именно поэтому телефон и другие цифровые устройства оказываются в центре правового конфликта: с одной стороны,

это личная территория человека, с другой — источник сведений, которые могут интересовать силовые структуры в логике военного времени. В обычной правовой системе доступ к содержимому телефона требует ясного основания и соблюдения процедуры; в условиях войны граница между законным осмотром и фактическим цифровым обыском начинает размываться. Это и делает проблему особенно острой.

На практике граждане регулярно сталкиваются с просьбами или требованиями показать телефон на блокпостах, при проверке документов, во время общения с представителями военных структур, полиции или других уполномоченных органов. Формально проверка документов, осмотр вещей, багажа и транспортных средств может быть предусмотрена режимом военного положения.

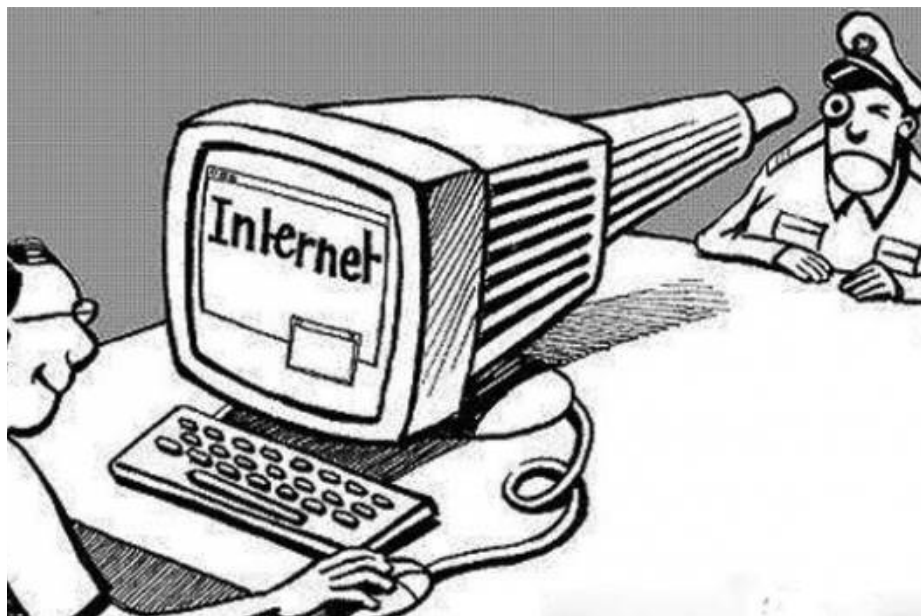
Но вопрос в том, означает ли это право свободно просматривать личные сообщения, фотографии, переписку в мессенджерах, контакты, заметки или историю браузера. Именно здесь возникает ключевое противоречие: в общественном восприятии такой осмотр часто подается как обычная мера безопасности, тогда как по своей сути он затрагивает самую сердцевину права на частную жизнь. Телефон сегодня содержит не просто набор технических данных, а целую биографию человека: его

круг общения, маршруты, политические взгляды, семейные связи, рабочие контакты, медицинскую информацию, религиозные предпочтения и финансовые следы.

Особую тревогу вызывает практика, при которой человек оказывается не в позиции свободного согласия, а в ситуации психологического давления. Формулировки вроде «покажите телефон», «разблокируйте устройство», «ничего страшного, это проверка», «если отказываетесь, значит есть что скрывать» создают иллюзию добровольности, хотя в действительности речь может идти о принуждении.

Для рядового гражданина отказ в подобных обстоятельствах часто воспринимается как риск конфликта, задержания или дополнительных подозрений. В этом и состоит одна из главных проблем: даже если формально согласие не выбивается силой, оно может быть получено в условиях, когда человек не чувствует себя свободным выбирать. С правовой точки зрения это очень тонкая, но принципиальная грань.

Отдельный вопрос — изъятие техники. Телефон, ноутбук, планшет, флеш-накопитель или даже фотокамера могут рассматриваться не только как личные вещи, но и как носители информации, которая интересует государство. Однако сама по себе заинтересованность еще не означает законности изъятия. В демократическом правовом порядке даже в условиях военного положения вмешательство в право собственности и в частную жизнь должно иметь юридическое основание, быть соразмерным цели и сопровождаться процессуальными гарантиями. Если же устройство забирается без понятного объяснения, без протокола и без возможности обжаловать действия должностных лиц, возникает риск произвольного вмешательства. Для гражданина это означает не просто временную утрату гаджета, а возможное нарушение конфиденциальности всей его личной и профессиональной коммуникации.



Продолжение на стр. 9

Продолжение. Начало на стр. 8

Цифровой контроль в условиях войны не ограничивается только физической проверкой телефона. Он может включать мониторинг связи, анализ публикаций в социальных сетях, отслеживание фото- и видеоматериалов, проверку переписки на предмет «нежелательного» содержания и сопоставление цифровых следов с маршрутами передвижения. Это особенно чувствительно в ситуации, когда любое сообщение, снимок или репост могут быть истолкованы как признак нелояльности, паники или даже правонарушения. В таких условиях граждане начинают самоограничивать себя: удаляют сообщения, избегают обсуждения чувствительных тем, не фиксируют происходящее на камеру и стараются минимизировать цифровой след. Самоцензура становится не только политическим, но и бытовым явлением. Люди меняют поведение не потому, что им есть что скрывать, а потому что не уверены, как именно будет интерпретирована их цифровая активность.

Еще одна важная грань проблемы — связь между цифровым контролем и свободой выражения мнения. Когда человек знает, что его телефон могут попросить показать в любой момент, он начинает осторожнее говорить о войне, власти, мобилизации, потерях, коррупции, нарушениях на местах и положении гражданских. Таким образом контроль над устройством превращается в контроль над публичным словом. Для прав человека это особенно опасно, потому что удар наносится не только по частной жизни, но и по свободе мысли, выражения и участия в общественной дискуссии. В военное время государство нередко оправдывает такие практики необходимостью предотвращения утечек информации, диверсий, паники и помощи противнику. Но чем шире толкование угрозы, тем проще оправдать вторжение в приватность, даже когда реальной опасности нет.

Здесь важно различать законную проверку и широкую практику профилактического контроля. Законная проверка должна быть связана с конкретным основанием, а не с общей подозрительностью к гражданину как таковому. Если уполномоченный орган действует по процедуре, фиксирует основания, оформляет протокол, уважает пределы вмешательства и не



выходит за рамки необходимого, речь может идти о допустимой мере. Но когда человек сталкивается с требованиями открыть чаты, показать личные фото, доступ к облачным хранилищам или банковским приложениям, ситуация уже выходит далеко за пределы обычной проверки. В цифровую эпоху граница между устройством и личностью почти исчезает, и потому любое вмешательство в смартфон должно рассматриваться как серьезное ограничение прав, а не как мелкая бытовая формальность.

Проблема усугубляется тем, что большинство граждан плохо понимают, где именно проходит эта граница. Люди часто не знают, обязаны ли они разблокировать телефон по требованию, могут ли отказаться в доступе к мессенджерам, в каких случаях допустим осмотр содержимого, кто именно вправе проводить такую проверку и как оспорить действия должностных лиц. Нехватка правовой ясности делает гражданина уязвимым. На практике тот, кто уверен в своих правах, и тот, кто не знает, как реагировать, оказываются в совершенно разных позициях. При этом военное положение усиливает асимметрию: у представителя власти есть полномочия, форма, статус и возможность давления, а у человека — только его собственная готовность настаивать на границах приватности.

Нельзя игнорировать и более широкий социальный эффект. Когда цифровой контроль становится привычной частью повседневности, он меняет саму культуру отношений между гражданином и государством. Появляется нормализация наблюдения: проверка телефона воспринимается как обычный эпизод, а не как вмешательство в личную сферу. Постепенно снижается чувствительность к нарушениям, и то, что раньше вызывало возмущение, начинает восприниматься как неизбежность. Это опасный сдвиг, потому что чрезвычайный режим имеет свойство

закрепляться в повседневной практике. В итоге временные меры перестают выглядеть временными, а правовые исключения — исключениями. Для прав человека это всегда тревожный симптом.

Особого внимания заслуживает и вопрос неравенства. Цифровой контроль действует по-разному для разных групп населения. Для жителей приграничных районов, для мужчин призывного возраста, для волонтеров, журналистов, правозащитников, активистов и внутренне перемещенных лиц риск проверки значительно выше. Уязвимыми оказываются и те, чья работа требует постоянной коммуникации: редакторы, ученые, юристы, предприниматели, медицинские работники. Для них телефон — это не только личный предмет, но и инструмент профессиональной деятельности. Если доступ к нему ограничивается, страдает и работа, и возможность хранить конфиденциальные данные клиентов, собеседников, пациентов или партнеров. Таким образом вмешательство в цифровую сферу затрагивает не одного человека, а целые сети социальных и профессиональных отношений.

С правовой точки зрения наиболее опасна ситуация, когда государство расширяет контроль, но не предлагает ясных механизмов защиты. Если у гражданина изымают устройство, просматривают личные данные или принуждают к разблокировке, он должен понимать, кто именно совершает действие, на каком основании, в каких пределах и как потом обжаловать вмешательство. Без этих гарантий любой контроль превращается в произвол. Именно поэтому тема тайны переписки и частной жизни в Украине сегодня является не частным вопросом цифровой безопасности, а индикатором качества правопорядка в целом. Там, где исчезает уважение к приватности, очень быстро ослабевает и уважение к другим правам.

ЧТО НЕ ТАК С УКРАИНСКОЙ ШКОЛОЙ И ЧЕМ ГРОЗИТ ИДЕОЛОГИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА УКРАИНЕ

Школа в любом современном обществе должна быть пространством знания, личностного развития и формирования самостоятельного мышления. Но она перестает выполнять эту роль, когда государство начинает использовать ее не для образования, а для политико-идеологического воспитания подрастающего поколения. В такой момент меняется сама логика школы. Ребенка уже не столько учат понимать мир, сколько приучают правильно чувствовать, правильно относиться к государству, правильно воспринимать историю и правильно определять собственную идентичность. Именно это сегодня и составляет одну из наиболее серьезных правозащитных проблем в сфере украинского образования, где национально-патриотическое воспитание все заметнее превращается из вспомогательной воспитательной линии в одну из центральных функций школьной среды.

Формально этот процесс объясняется войной, необходимостью защиты государства, общественной консолидацией и воспитанием ответственных граждан. Сам по себе разговор о гражданской ответственности, памяти, истории, языке и культурной принадлежности не является чем-то противозаконным или опасным. Опасность начинается тогда, когда государство перестает ограничиваться поддержкой гражданского самосознания и начинает закреплять через школу обязательную ценностную схему. В таком случае образование уже не развивает свободу, а обслуживает идеологическую модель.

Ребенок оказывается внутри системы, где любовь к стране, национальная идентичность, отношение к символам, языку, истории, героям и войне подаются не как предмет осмысленного выбора, а как заранее заданная норма, от которой нельзя существенно отклоняться без риска морального или социального исключения.

Украинская система национально-патриотического воспитания имеет для этого уже вполне определенную нормативную основу. Еще в 2015 году

была утверждена концепция национально-патриотического воспитания детей и молодежи, а позднее она была обновлена и переформулирована в рамках новой образовательной и общественно-политической реальности. В последующих документах и методических материалах подчеркивается, что воспитание должно формировать у школьников уважение к государственным символам, любовь к государственному языку, готовность к гражданскому долгу, патриотические ценности, уважение к национальной истории и активную позицию по защите украинской государственности.

Такая формулировка на первый взгляд может показаться естественной для страны, находящейся в условиях войны. Но именно в этом и заключается сложность правозащитного анализа: война часто становится аргументом, который позволяет государству переносить в школу то, что в мирной ситуации выглядело бы как явное идеологическое давление.

Главная проблема состоит в том, что школа — это не политическая площадка, а пространство формирования личности. Любое государственное воздействие здесь должно оцениваться строже, чем в отношении зрелого гражданина. Ребенок и подросток не обладают равными возможностями для дистанции, критического сопротивления и внутренней автономии. Они зависят от школьной среды, учителя, учебной программы, административной и символической дисциплины, а также от желания не быть исключенными из коллектива. Поэтому даже мягкая форма идеологизации в школьной среде действует гораздо глубже, чем прямые политические лозунги в публичном пространстве.

Ребенок не всегда способен осознать, где заканчивается образование и начинается политическая обработка. Именно поэтому школьная идеология опаснее уличной пропаганды: она формирует не просто мнение, а привычку к внутреннему согласию с официальной картиной мира.

В украинском случае эта картина

мира все сильнее строится вокруг национально-патриотической мобилизации. Воспитательная работа связывается с формированием национального сознания, уважения к государственным символам, ценностей свободы, достоинства и ответственности перед будущим Украины. Первый урок в школах предлагается посвящать памяти защитников, патриотизму и гражданской позиции.

В методических материалах подчеркивается важность языковой среды как инструмента формирования ученика-гражданина и патриота. В концептуальных документах говорится о военно-патриотической составляющей, о готовности выполнять гражданские и конституционные обязанности, о патриотическом опыте, о противодействии украинофобству, сепаратизму и шовинизму. Все это создает плотную воспитательную рамку, где гражданская идентичность подается не как пространство свободы, а как пространство нормативной мобилизации.

С точки зрения прав ребенка здесь возникает несколько серьезных вопросов. Во-первых, насколько школа сохраняет нейтральность как образовательная среда. Во-вторых, где проходит граница между гражданским воспитанием и государственно одобренной идентичностью. В-третьих, не подменяется ли развитие критического мышления эмоционально-политической дисциплиной. И наконец, не превращается ли ребенок из субъекта образования в объект государственной ценностной политики. Все эти вопросы становятся особенно острыми, когда патриотическое воспитание соединяется с милитаризацией учебного процесса.

Именно милитаризация делает проблему не просто идеологической, а системной. Предмет «Защита Украины», который и раньше имел мобилизационно-гражданский характер, в последние годы приобретает все более выраженное военно-прикладное содержание. Это существовало до 2005 года.

Продолжение на стр.11

Продолжение. Начало на стр. 10

С 2025 года он обновляется в сторону большей практики, меньшей теории, с включением тем национальной безопасности, военного управления, стрелковой подготовки, вооружения, военной техники, домедицинской помощи, военных технологий, OSINT, контрпропаганды и информационно-психологических операций. Более того, ветераны войны получают возможность официально трудоустроиться в школы и преподавать этот предмет, передавая школьникам основы военного дела и гражданской защиты. Во Львове уже создаются специальные центры патриотического воспитания, где предмет «Защита Украины» изучают сотни школьников в институционально усиленном формате.

Сторонники такой модели, как правило, говорят, что речь идет лишь о подготовке молодежи к реальности войны, к безопасности и выживанию. Но правозащитный вопрос звучит иначе: что происходит со школой, когда военная логика проникает в самую ткань образовательной среды. Одно дело — информировать старшеклассников о рисках, гражданской защите и первой помощи. Другое — перестраивать школьное сознание так, чтобы война, национальная оборона и образ врага становились не исключительными темами, а основой взросления. Когда ученику регулярно объясняют, что зрелость равна готовности к служению, а гражданственность срастается с воинской ролью, школа начинает формиро-

вать не свободную личность, а мобилизационно пригодного гражданина. Это уже не просто патриотическое воспитание. Это структурная перестройка школы под потребности долгого конфликта и идеологически консолидированного государства.

Здесь особенно важен язык, которым такая политика оправдывается. Обычно она описывается словами «достоинство», «ответственность», «сознание», «готовность», «память», «уважение», «служение», «гражданская позиция». Эти слова сами по себе положительны и морально нагружены, а потому создают эффект самоочевидности. Но именно такая риторика часто скрывает переход от открытого образования к нормативному воспитанию. Когда государство говорит ребенку, что правильная идентичность уже определена, что правильное отношение к истории уже задано, что правильные герои уже названы, а правильная форма гражданской зрелости уже сводится к поддержке национально-мобилизационной линии, пространство свободы резко сокращается. Формально ученику никто не запрещает думать иначе. Но институционально ему почти не оставляют места для иного переживания своей принадлежности, языка, истории или отношения к войне.

Особенно опасной является подмена патриотизма националистической нормой. В демократическом и правовом понимании патриотизм может означать уважение к людям своей страны, заботу об общем благе, участие

в общественной жизни, знание истории, желание защищать достоинство и свободу. Но националистическая интерпретация идет дальше: она требует эмоционального и политического слияния личности с государственным проектом, исключает сложность исторического разговора, стигматизирует неоднозначность, подозрительно относится к культурной и языковой разности, сакрализует военный героизм и делает коллективную идентичность важнее внутренней свободы человека. Когда именно такая логика начинает проникать в школу, это становится проблемой не политических вкусов, а базовых прав ребенка.

Пропаганда национализма в школьной среде далеко не всегда выглядит как открытая агитация. Чаще она работает через повседневность. Через то, какие уроки признаются особенно важными. Через то, какие символы становятся обязательной эмоциональной нормой. Через то, какие исторические сюжеты подаются как героическая безальтернативность. Через то, какие чувства считаются правильными. Через то, какие слова и формы поведения в школе получают институциональное одобрение. Через то, как соединяются язык, память, школа и война в единую воспитательную рамку. В результате ребенок оказывается не в пространстве свободного изучения общества, а внутри системы морально-политической социализации.

С правовой точки зрения это означает постепенное сужение права на свободное развитие личности. Образование должно открывать человеку мир, а не замыкать его в заранее выстроенной государственной интерпретации. Оно должно развивать способность к критике, сравнению, сомнению, аргументации и самостоятельной оценке. Когда вместо этого школьника учат распознавать только внешнюю пропаганду, но не собственную государственную идеологию; когда его учат уважать право и свободу, но одновременно помещают в среду символической и национально-политической однозначности; когда ему говорят о достоинстве, но отрицают право на сложность внутреннего отношения к государству и его курсу, школа начинает противоречить самой идее образования как освобождения.



Продолжение на стр. 15

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ПОВОД ДЛЯ НАКАЗАНИЯ



Штраф киевской учительнице за показ первоклассникам фрагмента мультфильма на русском языке стал еще одним сигналом того, что языковой вопрос на Украине все чаще переходит из сферы общественного спора в сферу административного принуждения. Формально речь идет о нарушении закона о государственном языке, но по сути этот эпизод показывает более широкую тенденцию: язык превращается не просто в средство общения, а в маркер лояльности, по которому можно жаловаться, проверять и наказывать. История выглядит особенно показательной из-за своей детали. Речь идет не о публичном митинге, не о политическом выступлении и не о сознательной провокации. В центре сюжета — обычный школьный урок в первом классе, где учительница включила фрагмент мультфильма с русской озвучкой. Именно поэтому реакция властей и штраф воспринимаются не как частный дисциплинарный случай, а как симптом того, что языковая норма в Украине становится все более карательной по отношению даже к бытовому и педагогическим ситуациям.

Проблема здесь не ограничивается самим русским языком. Гораздо важнее то, как выстраивается административный механизм. Достаточно жалобы одного родителя, чтобы запустилась проверка, был составлен протокол, вынесено постановление и назначен штраф. Это означает, что языковая политика работает уже не только через

общие нормы закона, но и через повседневный донос, где любой эпизод использования русского языка может быть превращен в основание для наказания. В такой системе язык начинает играть роль триггера административного контроля, а не нейтрального культурного инструмента.

Особую остроту этой истории придает то, что она не первая. Ранее уже сообщалось о штрафах и претензиях к киевским педагогам за преподавание на русском языке. В июне 2026 года президент Украины подписал закон, исключивший русский язык из перечня языков, подлежащих защите по Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств. На фоне этого решения сама административная реакция на школьный эпизод выглядит как часть более широкой линии: не просто ограничивать русский язык в публичной сфере, а последовательно выводить его за пределы правовой защищенности.

Правозащитный вопрос здесь очень конкретен: где проходит граница между языковой политикой государства и дискриминацией по языковому признаку? Если в школе, в культуре, в быту и в публичной сфере русский язык все чаще становится поводом для проверок, протоколов и штрафов, то язык уже перестает быть только языком. Он становится основанием для социального подозрения. Человек, педагог, родитель или культурный работник оказывается не просто носителем определенного языка, а потенциальным нарушителем,

если этот язык звучит в неподходящем месте или в неподходящий момент.

Именно в этом смысле киевская история с мультфильмом показательная. Закон о государственном языке сам по себе может устанавливаться как инструмент защиты украинского языка в публичной сфере. Но когда его применение доходит до первого класса и детского мультфильма, возникает ощущение, что правовая рамка уже начинает действовать как механизм

символической очистки пространства от русского языка вообще. И тогда спор перестает быть только языковым. Он становится спором о свободе культурного выбора, о допустимости принудительной однозначности и о том, может ли государство превращать язык в критерий гражданской добропорядочности.

Здесь важно и то, что в самой украинской правовой и политической системе эта тенденция давно обсуждается как курс на усиление языковой однородности. Языковой омбудсмен в 2025 году прямо поддерживал идею полного запрета русского языка в школах, включая перемены, библиотеки, спортзалы и дворы. В 2026 году в парламенте был зарегистрирован законопроект, который предусматривает еще более жесткие штрафы за использование русского языка и запрет на его применение в ряде публичных сфер, включая внешкольное образование, детские лагеря и публичное исполнение произведений. На этом фоне штраф конкретной учительницы выглядит уже не единичной реакцией, а фрагментом общей политики постепенного вытеснения языка из общественного пространства.

Для правозащитного анализа это означает, что языковой вопрос в Украине все сильнее смещается от идеи равного сосуществования к идее санкционированного вытеснения.

Продолжение на стр. 13

Продолжение. Начало на стр. 12

Проблема не в том, что государство поддерживает украинский язык — это естественная функция любого национального государства. Проблема в том, что поддержка все чаще строится через административное наказание за присутствие другого языка, а не через создание привлекательной и свободной украиноязычной среды. Когда акцент делается на запрете, контроле и штрафах, а не на развитии, язык превращается в инструмент принуждения, а не общественного согласия.

Отдельный вопрос — роль общественного сигнала в подобных делах. В киевском случае жалоба, как сообщалось, поступила от отца первоклассника, являющегося ветераном российско-украинской войны. Это важная деталь, потому что она показывает, как языковая тема переплетается с военной идентичностью и моральным авторитетом участников войны. Когда жалоба исходит от ветерана, спор о языке автоматически получает дополнительный политический и символический вес. Однако с правовой точки зрения это не меняет главного: ребенок, учитель и школа оказываются в пространстве, где язык все больше используется как инструмент оценки «своего» и «чужого».

В этом и состоит опасность такой политики. Язык перестает быть пространством общения и культуры, а становится механизмом социального ранжирования. В одних случаях это выражается в штрафе, в других — в жалобе, в третьих — в общественном осуждении, в четвертых — в самоцензуре. И именно самоцензура в долгосрочной перспективе наиболее разрушительна. Когда учитель заранее боится использовать любой русскоязычный матери-



ал, даже если он нужен в учебной ситуации, это уже значит, что языковое давление начало менять поведение не только через закон, но и через страх перед его применением.

Параллельно меняется и сама общественная рамка. Закон, который ранее еще оставлял определенную защиту русскому языку в международно-правовом смысле, теперь официально его лишает. Это усиливает восприятие русскоязычных практик как заведомо маргинальных, а иногда и как почти нелегитимных. На практике это может затрагивать не только школы, но и медиа, культуру, театр, музыку, бытовое общение и публичные мероприятия. Чем шире становится сфера ограничений, тем больше вероятность, что язык начнут трактовать не как часть культурного наследия значительной части общества, а как нежелательный след прежней эпохи, подлежащий вытеснению.

Такой подход создает и внутренний правовой конфликт. С одной стороны, государство декларирует право на украинский язык как язык публичного пространства и государственного строительства. С другой — языковая политика начинает вызывать вопросы

о свободе выражения, недопустимости дискриминации и соразмерности наказания. Можно ли считать соразмерным штраф за мультфильм в первом классе, если речь не шла о политической агитации и если само использование русского языка было частью учебного занятия?

Формально власти отвечают на этот вопрос через закон. Но с точки зрения прав человека здесь все равно остается проблема пропорциональности: общественный язык может поддерживаться без превращения каждого отклонения в повод для штрафа.

В конечном счете этот сюжет показывает, как в условиях войны и жесткой национальной мобилизации язык становится не просто культурным признаком, а административным фильтром. Вчера это был предмет споров о медиа и школе, сегодня — повод для штрафа педагогу, завтра — основа для новых запретов и расширения санкций. Именно поэтому история с киевской учительницей важна не сама по себе, а как знак более глубокого процесса: правовое и общественное пространство Украины все заметнее строится по модели, где русский язык воспринимается не как язык значительной части населения, а как проблема, которую нужно системно ограничивать.

Именно в этом состоит главный вывод. Штраф за школьный мультфильм на русском языке — это не мелкий бытовой эпизод, а показательная сцена, в которой видна логика языковой политики. Эта логика строится на сочетании правовых ограничений, общественного давления и символического наказания за русский язык. И чем дальше она продвигается, тем меньше в ней остается места для нормального культурного сосуществования, правовой соразмерности и свободы языкового выбора.



Продолжение. Начало на стр. 1

Сначала вводится различие между «старыми» и «новыми» случаями. Затем устанавливаются дополнительные фильтры — документы, подтверждения, основания для отказа. Потом сама категория гуманитарной защиты начинает дробиться и условно зависит от административной благонадежности заявителя. И в итоге то, что еще вчера казалось универсальным правом на защиту, превращается в систему селекции, где шанс на безопасность зависит от того, как государство и бюрократия оценивают твою полезность, законность выезда и допустимость пребывания.

Для украинских мужчин в Европе это означает резкий рост правовой нестабильности. Даже если депортация прямо не предусматривается, сама угроза отказа в защите, проблемы с видом на жительство, необходимость доказывать законность выезда и возможная утрата социальных гарантий создают атмосферу постоянного давления. Человек оказывается не просто беженцем или временно защищенным лицом, а фигурой с подвешенным статусом, на которую одновременно смотрят как на потенциального нарушителя украинского мобилизационного режима и как на нежелательного нового заявителя в Европе.

Именно в этом и состоит правовой парадокс нынешней ситуации. Евросоюз продолжает заявлять о поддержке

Украины и о приверженности гуманитарным обязательствам. Украина продолжает говорить о защите своих граждан и европейских ценностях. Но на практике обе стороны приходят к модели, в которой мужская часть украинского населения мобилизационного возраста получает менее устойчивую и менее нейтральную защиту, чем остальные группы. Это не обязательно оформляется как прямая дискриминация, но фактически создает особый режим правовой уязвимости именно для той категории лиц, которую Киев хотел бы вернуть.

Правозащитная проблема здесь двойная. Во-первых, это вопрос недопустимости дискриминационного ограничения гуманитарной защиты по половозрастному и мобилизационному критерию. Во-вторых, это вопрос о косвенном принуждении к возвращению. Если человек формально не депортируется, но его лишают реального доступа к временному легальному пребыванию, социальной защите и предсказуемому статусу, его «добровольное возвращение» уже нельзя считать полностью свободным выбором. Это будет выбор под давлением правовой неопределенности.

Еще одна серьезная проблема — разрушение самой идеи временной защиты как экстренного и безусловного механизма на случай массового бегства от войны. Этот инструмент создавался именно для того, чтобы быстро и без

долгих процедур дать людям безопасный статус. Если теперь его начинают использовать выборочно, исключая часть граждан по мотиву их потенциальной призывной пригодности, то прецедент выходит далеко за пределы украинского случая.

Он показывает, что в будущем гуманитарная защита может быть ограничена для любой категории лиц, если государства сочтут, что у этих людей есть особая обязанность перед страной происхождения. А это уже прямой риск для всего европейского правового подхода к массовому перемещению населения.

Важно понимать и политический мотив Европы. К середине 2026 года у многих государств ЕС заметна усталость от продолжительной чрезвычайной поддержки украинцев. Речь идет и о социальной нагрузке, и о внутренних политических спорах, и о миграционном давлении, и о нежелании сохранять максимально широкий режим защиты без дополнительных фильтров. На этом фоне ограничение для мужчин призывного возраста удобно сразу по нескольким причинам: оно снижает потенциальный приток новых заявителей, демонстрирует избирательность помощи и одновременно отвечает запросу Киева на возвращение мобилизационного ресурса.

Продолжение на стр. 15



Продолжение. Начало на стр. 1, 14

Но удобство для государств не означает правовую допустимость. Международная защита не должна становиться функцией интересов донора, принимающей страны или государства происхождения. Ее смысл именно в том, чтобы на время войны поставить человека под особый правовой щит. Если этот щит начинает давать трещину именно там, где государству выгодно получить назад своих граждан, то мы имеем дело уже не с гуманитарной логикой, а с логикой управляемого возврата. Формально человек может и не быть насильно отправлен домой. Но если для него закрываются легальные пути закрепиться в безопасной юрисдикции, давление становится очевидным.

Вокруг этой темы часто возникает и моральный аргумент о справедливости. Его можно сформулировать так: почему мужчины, которые должны защищать страну, пользуются защитой Европы, пока другие воюют? Этот аргумент политически понятен, но правозащитно он крайне опасен. Он переводит человека из статуса носителя прав в статус должника перед государством. Как только такая логика побеждает, все гуманитарные гарантии начинают работать условно: их получают не те, кто нуждается в защите, а те, кого государство согласилось временно отпустить от долга. Но право человека не должно зависеть от того, насколько власть считает его обязанным пожертвовать собой.

Для правового вкладыша особенно важно подчеркнуть: речь не идет о споре «за» или «против» обороны Украины. Государство может защищаться, вводить мобилизацию, ограничивать выезд и требовать воинского учета. Но международная или европей-



ская гуманитарная защита не должна подстраиваться под мобилизационные интересы. Если защита становится продолжением военной политики, она перестает быть защитой в собственном смысле слова. Она превращается в еще один административный рычаг в борьбе за человеческий ресурс.

При этом нельзя упускать и практическое измерение. Для мужчин, уже находящихся в Европе, новая тенденция будет означать рост тревоги, усиление правовой неуверенности и возможную самоцензуру в отношениях с властями. Люди начнут опасаться продления статуса, регистрации, взаимодействия с миграционными службами, обмена данными и любых процедур, которые могут поставить под сомнение законность их выезда или право на дальнейшее пребывание. Даже без немедленной депортации это создает пространство страха, в котором человек живет не под защитой, а под отсроченным риском.

Для тех, кто только намерен выехать, ситуация еще жестче. Их могут встретить уже не как лиц, бегущих от войны, а как категорию, требующую

дополнительного контроля, индивидуальной проверки и возможного отказа. Это резко меняет характер границы. Она перестает быть линией спасения и превращается в фильтр, через который пропускают не всех нуждающихся, а тех, кто не противоречит новым мобилизационно-миграционным правилам.

Именно поэтому тема возврата украинских мужчин из Европы — это не только миграционный и не только политический вопрос. Это полноценная правозащитная проблема, на которой видно, как гуманитарный режим постепенно поглощается логикой войны. Еще недавно Европа предлагала защиту как ответ на массовое бедствие. Теперь она все отчетливее обсуждает, как не давать эту защиту тем, кого Украина хотела бы видеть обратно. И если такой подход окончательно закрепится, это будет означать очень опасный прецедент: право на защиту становится условным и зависит от того, нужен ли ты государству как человек — или как будущий солдат.

Главный вывод отсюда предельно ясен. Когда гуманитарный статус для беженцев начинает ограничиваться по критерию мобилизационной пригодности, международная защита перестает быть безусловной гарантией безопасности. Она превращается в управляемый механизм, который одновременно учитывает потребности войны, интересы государств и миграционную конъюнктуру. А это уже означает, что украинский мужчина в Европе рискует оказаться не субъектом права, а объектом большой юридикто-политической сделки, в которой его свобода, безопасность и будущее рассматриваются через призму фронта.



Продолжение. Начало на стр. 10,11

Нельзя забывать и о роли учителя. В идеологизированной системе он постепенно перестает быть посредником между знанием и учеником. От него начинают ждать не профессиональной свободы и интеллектуальной честности, а правильной ценностной интонации. Учитель оказывается встроен в воспитательную вертикаль, где требуется не столько развивать мышление, сколько обеспечивать правильный моральный климат. Это разрушает и саму педагогику. В атмосфере идеологического контроля учитель меньше склонен поднимать сложные вопросы, говорить о неоднозначности, поощрять дискуссию и допускать сильное отличие мнений. Он начинает работать в логике предписанного смысла, а не свободного поиска.

Тем самым страдают и родители. Формально школа продолжает существовать как общественный институт, открытый для семьи. Но фактически пространство воспитательных решений все больше определяется государством, министерскими рекомендациями, символической линией времени войны и местной административной инициативой. У родителей остается все меньше возможностей ожидать от школы нейтрального образования, если сама система считает своей задачей формировать не просто гражданина, а патриотически и мобилизационно ориентированного субъекта. Это создает скрытый конфликт между правом семьи на участие в воспитании и правом государства навязывать детям единый ценностный контур под видом общественного интереса.

Отдельная проблема — нормализация военного опыта как педагогического стандарта. Само по себе участие

ветеранов в общественной жизни не является нарушением прав. Но когда именно ветеранский и военный опыт начинает входить в школу как норма воспитательной легитимности, это меняет структуру авторитета.

Личность начинает оцениваться через близость к фронту, к обороне, к жертве, к военной пользе. Ученик получает сигнал: полноценное гражданство — это прежде всего сопричастность национальной борьбе. Такой подход особенно опасен для детей, потому что не оставляет достаточного пространства для иных моделей достоинства — научной, гуманитарной, художественной, социальной, миротворческой. Война в такой школе перестает быть трагической реальностью, о которой следует говорить осторожно и ответственно. Она становится центральной рамкой взросления.

В долгосрочной перспективе это может привести к тяжелым последствиям для всего общества. Ребенок, выросший в школе, где государство постоянно присутствует в форме символов, патриотических директив, правильных исторических эмоций и мобилизационной педагогики, с меньшей вероятностью станет свободным и критически мыслящим гражданином. Он будет лучше адаптирован к нормативной лояльности, к восприятию государства как высшего источника морального смысла, к смешению любви к родине с подчинением официальной идентичности. Такая школа производит не свободное общество, а общество дисциплинированного согласия. И именно поэтому вопрос о школьной идеологии нельзя считать второстепенным: через него государство работает с самым уязвимым и самым стратегически важным уровнем общественного воспроизводства

— с сознанием будущего поколения.

Поэтому критика идеологизации образования на Украине — это не нападение на культуру, не отрицание языка, не пренебрежение к реальности войны и не спор о праве страны на самозащиту. Это вопрос о границах допустимого государственного влияния на ребенка. Государство может рассказывать о праве, истории, безопасности и гражданской ответственности. Но оно не должно подменять образование программой национальной мобилизации. Оно не должно превращать школу в пространство, где ребенку под видом воспитания предлагают политически и эмоционально обязательную идентичность. Оно не должно делать из класса инструмент, через который война, националистическая норма и милитаризованное понимание гражданственности становятся повседневной частью детского развития.

Именно поэтому сопротивление идеологизации школы должно рассматриваться как часть общей правозащитной повестки. Защита школы от националистической пропаганды — это защита не отвлеченной педагогической нейтральности, а внутренней свободы ребенка. Если школа окончательно перестанет быть пространством открытого образования и превратится в механизм государственной ценностной мобилизации, общество заплатит за это слишком высокую цену. Оно получит поколение, которое научат не думать, а правильно переживать; не спорить, а правильно соглашаться; не искать истину, а воспроизводить одобренный образ страны, истории и будущего. А это уже означает не укрепление общества, а его долгосрочное подчинение идеологии, пришедшей в класс под видом воспитания.

